



Title	《Мир Японии》 в книге И. А. Гончарова 《Фрегат Паллада》
Author(s)	Краснощекова, Елена А.
Citation	Acta Slavica Iaponica, 11, 106-125
Issue Date	1993
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/8057
Type	departmental bulletin paper
File Information	KJ00000034014.pdf



«Мир Японии» в книге И. А. Гончарова «Фрегат Паллада»

Елена А. Краснощекова

«Фрегат Паллада» (1855-58) – книга, скромно названная автором «очерки путешествия», в момент публикации почти единодушно была воспринята читателями и оценена критикой, прежде всего, как очередная работа автора «Обыкновенной истории» (1847) и «Сна Обломова» (1849), а только потом как свидетельство участника кругосветного путешествия. Об особой художественной природе этого произведения в последующие десятилетия, к сожалению, часто забывали, числа «Фрегат Паллада» по отделу «юношеской литературы», в ряду книг «бывалых людей», путешественников по отдаленным районам планеты. Трудными литературоведов уже советского периода, среди них первым должен быть назван Б. Энгельгардт,¹ книга была возвращена в мир искусства, в целом, и в контекст художественного творчества Гончарова, в частности. Но осталась до сих пор не во всем реализованной возможность раскрыть мастерство Гончарова как создателя «миров» тех стран, которые он посетил.

Зрелое создание Гончарова, равное в этом качестве трем его знаменитым романам, «Фрегат Паллада» представляет из себя сложное художественно-идеологическое единство, обладающее и особой композиционной организацией, и изысканным стилем.² Именно главы, посвященные Японии, с наибольшим эффектом воплощают все координаты этой книги. Недаром они были сразу восторженно восприняты критикой, немедленно вышли отдельным изданием,³ а при включении в состав первого книжного издания «Фрегата Паллада» были признаны ее художественной вершиной. В одном из отзывов на журнальную публикацию очерков «Русские в Японии . . .» читаем: «Заметки о Японии гораздо выше всех других заметок г. Гончарова и более всех их удовлетворяют современным требованиям от развитого, европейски-образованного путешественника, каким все, конечно, признают нашего талантливый автор».⁴ В других рецензиях цитаты, подтверждающие высокое мастерство автора «Фрегата Паллада», как правило, извлекались из японских глав.⁵ Диссонансом прозвучало лишь суждение А. Дружинина, заявившего, что «элемент, составляющий отличительную прелесть первых произведений Гончарова, является в его новой книге только на тех страницах, где идут русские картины и русские воспоминания . . .». В названии глав «Русские в Японии . . .» критику виделось главным первое слово: «мы готовы отдать двадцать лучших его страниц (даже, например, изображения торжественного свидания с нагасакским губернатором) за одну страницу в таком роде».⁶ И далее приводилось описание воображаемого путешествия по России.

Но вопреки этим суждениям, сам текст, бесспорно, свидетельствует, что в названии – «Русские в Японии» для Гончарова была первоначальной его вторая часть. В гончаровской Вселенной «мир Японии» самодостаточен и художественно завершен, более того – это самый гончаровский из всех «миров», представленных в книге. Создавая его, писатель оказывался первооткрывателем, чего нельзя сказать о некоторых других «мирах» (к примеру, в картине Англии очевиден отзвук «Писем русского путешественника» (1790-1801) Н. М. Карамзина.⁷

Японская тема издавна бытовала в мировой литературе. «Страна Восходящего Солнца» волновала воображение Западного мира с тех самых пор, как Марко Поло принес первые сведения о ней. Япония долго виделась Европе таинственной страной невиданных сокровищ.⁸ Россия стала соседом Японии после расширения своих границ до Тихого океана. История встречи двух стран (посещение русскими японских берегов и случайные попадания японцев в Россию) насчитывала более ста лет и завершилась подписанием адмиралом Е. Путятиным в 1855 году Договора о торговле и границах.

Как известно, Гончаров до начала и во время похода прочитал много книг, касающихся тех стран, через которые пролегал его путь.⁹ Среди них были книги о Японии зарубежных авторов, прочитанные писателем в оригинале, на которые он неоднократно ссылался.¹⁰ Но, естественно, особое значение имели для Гончарова-художника публикации на русском языке. Они включали записи впечатлений путешественников и обзоры прессы. Заслуживает упоминания большая статья «Япония и японцы», опубликованная в 1852 году в журнале «Современник», автором которой был знакомый Гончарова – Е. Корш¹¹ (уже поэтому вряд ли она могла не привлечь внимания писателя). Появление этой статьи, построенной на свидетельствах европейцев и русских о Японии, отражало все возрастающий интерес в русском обществе к мало известному соседу на Востоке, интерес, подогреваемый к тому же активностью американцев в открытии Японии. «Как бы хотелось нам поскорее видеть новые издания Головнина, Рикорда и Врангеля!»¹² – восклицал критик в 1855 году на страницах того же популярного журнала, называя среди трех имен два – авторов книг о Японии, хотя, одна из них – «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг. . .» (1816) уже была переиздана в 1851 году. Естественно, и сам Гончаров как автор книги о Японии, и его читатели не могли игнорировать тот контекст, что создавался публикуемыми и опубликованными материалами о загадочной стране.

В благожелательных и даже восторженных рецензиях на публикацию книги Гончарова иногда, тем не менее, звучало недоумение по поводу недостаточности исторических, географических, этнографических и иных сведений, сообщаемых в ней. Можно предположить, что косвенный ответ самого Гончарова содержался в рецензии его друга И. Льховского на первое книжное издание «Фрегата Паллада» (1858). Автор рецензии

подчеркивал разницу между писателем = путешественником и путешественником = «ученым и специалистом», описывающим свои впечатления. Последний, хоть и сообщает много сведений о стране, где побывал, не способен в полной мере постигнуть законы незнакомого человеческого мира, им увиденного, поскольку «подвергает наблюдаемые им явления такой классификации, подводит их под такие условия и границы, которым они не подчиняются в действительности, и самые интимные и глубокие психические явления остаются в тумане, не потому, что автор их не видел, а потому, что он не считает нужным показывать их, или потому, что на них, по его мнению, даже не следует смотреть». К такому автору, как Гончаров, относились следующие слова рецензента: «Никому более не доступен жизненный смысл явлений и их интимный характер, как современному поэту с его свободными воззрениями, тонким психологическим развитием и сознательным стремлением к истине».¹³

Два справедливо отмеченных, противоположных подхода к изображению увиденного были отчетливо обозначены и самими авторами знаменитых книг о Японии – В. Головинным и И. Гончаровым. К сожалению, эти признания обычно не учитываются специалистами (историками, географами, этнографами . . .), которые на равных сопоставляют два столь различных произведения.¹⁴

Мотивы написания и характер изложения событий в «Записках . . .» были сформулированы Головинным в «Предуповедении». Автор мотивировал свое решение взяться за перо тем, «сколь мало Япония известна в Европе». «Следственно сведение о сем древнем народе должно быть занимательно для людей просвещенных. Сие самое побудило меня сообщить Свету приключения мои в плену у японцев, которые, в другом случае, не заслуживали бы внимания публики». Головинн отвергали такой возможный вариант: «наполнить добрый том выписками из других книг, в коих писано о Японии и которые известны всем просвещенным читателям». Его намерение было простым, четким и выполнялось в книге последовательно: «Я хочу описывать только то, что со мной случилось, что я сам испытал и видел собственными глазами». Характерна последняя фраза в «Предуповедении»: «Записки были готовы в июле 1814»,¹⁵ то есть немедленно после освобождения из плена. Непосредственность впечатлений, столь ценная автором, не должна была быть утеряна.

В книге Гончарова реализовывалась, прежде всего, художественная задача. Она была заложена в основу произведения с самого начала работы и, претерпевая изменения в ее процессе, неизменно оставалась действенной до конца многолетнего труда. Возможно, в неосознанной полемике с авторами, более всего озабоченными скрупулезной достоверностью передачи увиденного, Гончаров заявлял: «Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь прибирать ключ к ним . . .»¹⁶ Ключ находился под руками, был опробован много раз и до него: параллель между своей жизнью и «жизнью народа, который хочешь узнать». Писатель, естественно, не отказывался от этого испытанного и

естественного угла зрения, но видел и особую задачу для себя как художника: через «вглядывание, вдумывание в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека» дать читателю «такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь»(65) (имелись ввиду, конечно, книги как источник знания, а не произведения искусства). Таким образом, параллель должна раскрываться и с проникновением в человеческую сущность, и при сохранении традиционного для путешественников внимания к конкретике.

Во «Фрегате Паллада» представлены, казалось бы, «внелитературные», бытовые формы передачи впечатлений – письма, дневник, которые, как и записки, широко использовались русскими авторами, писавшими о Японии. В этом ряду, кроме В. Головнина и П. Рикорда, который рассматривал свои «Записки флота капитана Рикорда о плавании его к японским берегам в 1812 и 1813 годах и сношениях с японцами» (1816) как дополнение к книге Головнина, должны быть названы и такие публикации: И. Крузенштерн «Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах . . .», К. Посьет «Письма с кругоземного плавания в 1852, 1853 и 1854 годах», «Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова», Путевые записки бывшего в 1854 и 1855 годах в Японии протоиерея Василия Махова» . . . Но в действительности – перед читателем Гончарова лишь внешняя имитация популярных форм, по существу ставших сугубо литературными в его художественном произведении, обладающем четкой жанровой структурой.

Творческая задача – создание «миров» разных стран и воссоздание духа наций – воплотилась у Гончарова в особом жанре – «путешествие», или «литературное путешествие». Этот жанр, пришедший в Россию из Европы на рубеже 19 века, нашел благодатную почву в творчестве Н. М. Карамзина и карамзинистов.¹⁷ «Письма русского путешественника», ставшие образцом для авторов этого жанра в начале 19 века, оказали серьезное влияние на создание «Фрегата Паллада». Реалист Гончаров полемизировал с предромантиком Карамзиным в стиле и общем подходе к изображению человека. Но в жанрово-сюжетной сфере усваивал его уроки.

В гончаровской Земной Вселенной, что предстает на страницах «Фрегата Паллада», отразился глубоко индивидуальный и избирательный подход к отражению увиденного. В одном из писем Гончаров советовал молодому другу, готовящемуся к дебюту в жанре-«путешествие»: «. . . свести все, виденное Вами, в один образ и в одно понятие, такой образ и понятие, которое приближалось бы более или менее к общему воззрению, так чтоб каждый, иной много, другой мало, узнавал в Вашем наблюдении нечто знакомое».(717) Именно этому совету следовал сам писатель в романном творчестве («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»). В романах Гончарова (он называл их недаром трилогией) присутствовал неизменный интерес к отображению хода Истории и живописанию судьбы рядового человека в ситуации смены Времен. Через противостояние двух

исторических и одновременно индивидуально-человеческих состояний (ленивой созерцательности и рационалистической активности), запечатленных во многозначных и всеобъемлющих образах – «Сна» и «Пробуждения», – писатель стремился передать динамику и драматизм переходных эпох.¹⁸

Во «Фрегате Паллада» гончаровская Земная Вселенная (Англия, острова Атлантического океана, Капская область, острова Индийского океана, Китай, Япония, Корея . . .) формируется по закону превалярования в том или ином ее регионе одного из этих двух процессов, и образы «Сна» и «Пробуждения» соответственно становятся лейтмотивами при описании той или иной страны. А так как понятие Страны у писателя-психолога реализуется в представлении о Человеке, то и национальные типы метафорически осмысляются в координатах двух контрастных состояний.

Первой в книгу Гончарова входит Англия, что было продиктовано реальным путешествием – маршрутом экспедиции адмирала Е. Путятина. Но в «путешествии» подобное начало приобретает особый, глубоко содержательный смысл, как и появление вслед за Англией первобытных островов Атлантического океана.

«Мир Англии» обретает свои определяющие признаки постепенно. В первой главе Гончаров подходит к типу англичанина с заранее сложившимся предубеждением человека, которому при всех обстоятельствах «свое» милее «чужого». С избранной этической позиции писатель не принимает рационализма, практичности англичан. Он готов предпочесть ей патриархальную леность, по-русски слобренную добротой (противопоставление двух вставных «новелл», условно нами названных – «День новейшего англичанина» и «День русского помещика»). Но в последующих встречах с англичанами писателю приходится с неохотой отказаться от сугубо этического критерия. На первый план выходит критерий исторический. И тогда из-за фигуры англичанина-дельца появляется фигура преобразователя-цивилизатора. Идея Прогресса выходит на первый план, и сравнение наций в их отношении к новейшей (британской) цивилизации становится глобальным сюжетом книги.

Англии, воплощающей силы Пробуждения, противостоит в гончаровской Вселенной «мир Сна» – островные страны. Их народы как бы еще и не осознали самих себя в качестве составной части человечества, а свои замки как ячейки Вселенной. Тотальное непробуждение этих «младенцев человечества» равносильно их несуществованию – смерти: «Все спит, все немеет . . . это не временный отдых, награда деятельности, но покой мертвый, непробуждающийся».(84)

В подобную контрастно прорисованную картину Вселенной суждено вписаться Японии, не мифической, а реальной, увиденной внимательными и трезвыми глазами художника. «Тридешатое государство», как бы явившееся из сказки, – так именовалась Япония в главах, предшествующих встрече с ней: «странная, занимательная пока своей неизвестностью страна». Наконец-то, утомленного и скучающего

путешественника ждет страна, воистину завораживающая своей неразгаданностью, как «запертый ларец с потерянным ключем». Загадкой видится писателю, прежде всего, уникальное место Японии в современном мире, ее отношения с Историей: «Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее и внутренние, произвольные законы своего муравейника противопоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде».(246) Этот тезис сформулирован на первых страницах повествования о Японии (в его основе – сведения из прочитанных книг). Предстоящее знакомство со страной призвано объяснить, конкретизировать, возможно, и отвергнуть подобный тезис.

Очень важно подчеркнуть, что встреча путешественника с Японией имеет внутренний «сюжет», позволяющий уловить своего рода этапы восприятия Гончаровым увиденного: первые впечатления нередко оспариваются последующими, обнаруживается непреодоленная противоречивость в суждениях героя, в позиции самого автора.

«Странный» – самый популярный эпитет в предчувствии Японии: («Здесь все может быть, чего в других местах не бывает».) (274). Он остается таковым и в момент прихода в Нагасаки как для самого путешественника, так и для его спутников по походу. Характерна реакция К. Посьета: «Вот вам и из Японии письмо, как бы с луны! . . . Может быть, выйдя из Японии, язык развяжется и сообщит вам о том, что заметили и что делали мы здесь, но теперь мы заражены таинственностью – отличительной чертой японского характера, который смыкает уста и сушит перо».¹⁹

Еще в книге Головнина первая встреча с японцами описывалась под знаком странности и комичности: «Вскоре и начальник появился в полном вооружении, в сопровождении двух человек также вооруженных, из коих один нес предлинное копьё, а другой его шапку или шлем, похожий на наш венец, при бракосочетаниях употребляемый, с изображением на оной луны. Ничего не может быть смешнее его шествия: потупив глаза в землю и подбоченясь фертом, едва переступал он ногами, держа их одну от другой так далеко, как бы небольшая канавка была между ими».²⁰ Но если для моряка воспроизведением странностей и таинственностей обычно все и исчерпывалось, то для писателя оно являлась только исходной точкой, за которой следовало вглядывание и вдумывание. Важно подчеркнуть, что в скрупулезности воспроизведения деталей, часто комических (описание одежд, причесок, привычек, традиций), Гончаров идет значительно дальше других авторов, поскольку для него в новой стране «всякая мелочь казалась знаменательной особенностью».(246) Показательно сравнение сцен приема у губернаторов, описанных Рикордом и Гончаровым. Встречаются одинаковые подробности (история с башмаками), но у

Рикорда это только проходная деталь, у Гончарова из нее вырастает целое комически-торжественное представление.

Подчеркнутое внимание писателя к странностям японцев и юмористический оттенок в их описании трактовались в литературе по-разному, но всегда объяснения выискивались вне художественной сферы. Нам представляется первостепенной именно эстетическая мотивировка. Как нам кажется, автор «Фрегата Паллада» сознательно усиливает странности японцев, используя особый прием, давно известный в искусстве, но получивший свое наименование в эпоху русского формализма – «остранение». Предмет или явления подаются в необычном ракурсе, чтобы привлечь к себе повышенное внимание, достичь особого художественного эффекта. «Остранение» картин Японии при первом знакомстве входит составной частью в общее развитие замысла японских глав, который как мы покажем далее, предполагал переключение внимания с национально-своеобычного на общечеловеческое в человеке.

Принципиально важно и то, что своеобразие Японии у Гончарова не представлено как уникальное, ни с чем не сопоставимое. Казалось бы, необычность увиденного подчас достигает такого уровня, что картины кажутся ирреальными: «Что это такое? декорация или действительность? какая местность! . . . все так гармонично, живописно, так непохоже на действительность, что сомневаешься, не нарисован ли весь этот вид, не взят ли целиком из балета?»(250-51) Но неожиданно обнаруживается за этим экзотическим фасадом нечто знакомое читателю Гончарова. Перед ним еще один сон вслед за «Сном Обломова», перенесший путешественника (а с ним и читателя) вновь в «удивительный уголок земли». Недаром в одном из писем Гончаров именовал свой поход вокруг света как «путешествие Обломова». Вот теперь – в Японии его герой, преодолев тысячи миль, и обрел «родной уголок», вернулся в Обломовку-Россию – край детства и мечты. На церемонии встречи с полномочными путешественника посещают забытые видения: «Мне не верилось, что все это делается наяву. В иную минуту казалось, что я ребенок, что няня рассказала мне чудную сказку о неслыханных людях, а я заснул у ней на руках и вижу все это во сне».(355) Параллель «своего» и «чужого» выявляется довольно неожиданно – на сказочном, сюрреалистическом уровне.

Однако не этот уровень сопоставления оказывается ведущим в создании «мира Японии». Для таинственной страны автор находит свое место в той реальной земной Географии и человеческой Истории, что представлены во «Фрегате Паллада». В свете «одного образа» и «одного понятия» Япония занимает во Вселенной Гончарова как бы срединное положение между двумя крайностями: «сном» первобытных племен Африки и островов и «новейшей цивилизацией» Англии. Путешественнику, прибывшему в Нагасаки, «неприятно видеть сон, отсутствие движения . . . Нет людской суеты, мало признаков жизни».(252) Но ему

ясно, что это происходит не от природной неразвитости, а от несвободы и застоя – остановки исторического развития: «Не скучно ли видеть столько залогов природных сил, богатства, всяких даров в неискусных, или скорее, несвободных, связанных какими-то ненужными путами руках!».(252)

То «младенчество», что неоднократно подчеркивается в японцах Гончаровым, – это не естественное состояние азиатских и африканских туземцев, оно куда более напоминает болезненное состояние стариков, впавших в детство. Старческий недуг развился от нехватки свежего воздуха свободы и прогресса: «Вот что значит запереться от всех: незаметно в детство впадешь».(269) Ведущими описательными лейтмотивами в японских главах становятся образы, связанные с «младенчеством» и «старостью». Детские любопытство и изнеженность сочетаются в посещавших корабль переводчиках и баниосах со стариковской сонливостью и медлительностью. Даже на описание природы распространяются эти лейтмотивы: две горы-игрушки, покрытые ошетилившимся лесом, как будто две головы с взъерошенными волосами. Высокие горы позади холмов глядят серьезно и угрюмо, как взрослые из-за детей. Но не случайно именно мотив старости, дряхлости, древности особенно настоятелен. На авансцене повествования – многочисленные старики: одни тихо плетутся, шаркая подошвами, другой со злым лицом унимает народ; две массивные фигуры седых стариков, как фарфоровые куклы, бросаются в глаза при входе в губернаторскую залу. Наконец, один образ столь монументален, что выглядит символическим: «подслеповатый громоздкий старик с толстым лицом смотрел осоловелыми глазами на все и по временам зевал».(295)

Закрытости от мира сопутствует «хитро созданная и глубоко обдуманная система государственной жизни», с многочисленными запретами, регулирующими порядок (два слова – «система» и «порядок» – проходят через все описание). «Не велено» – типичный ответ чиновников: «Они всего боятся, все им запрещено».(272) Именно эта система лишила страну здоровых соков, «которые она самоубийственно выпустила, вместе с собственной кровью, из своего тела, и одряхла в бессилии и мраке жалкого детства».(277) Японцы виделись Гончарову нацией с древней культурой и богатой историей, чей рост был искусственно остановлен, а дух пленен. «Здесь почти тюрьма и есть, хотя природа прекрасная, человек смышлен, ловок, силен, но пока еще не умеет жить нормально и разумно», то есть, следуя логике книги, – цивилизованно. Если у Головнина, проведшего в плену у японцев более двух лет, тюрьма-клетка, в которой пленник содержался, описана как примета суровой реальности, то у Гончарова «тюрьма» становится ведущей метафорой «мира Японии». Синонимы тюрьмы – плен, западня, путы, клетка . . . – встречаются неоднократно в описании этой «страны несвободы».

Совершенно очевидно, что столь четкий и зрелый диагноз не мог родиться только из наблюдений путешественника, хотя бы и объехавшего вокруг света. Решающее значение имел опыт осмысления родной страны

– России: и до путешествия, и на страницах самой книги. В данном контексте важны не столько картины России в воспоминаниях путешественника и не описание «уголка России» – фрегата и его обитателей, сколько влиятельное присутствие самого образа России при формировании гончаровской Вселенной.

В сравнении двух стран главным оказывается не географическая близость, принадлежность к одному материка – Азии, хотя Гончаров напоминает о сходстве с «нашими же старыми нравами» в бытовом обиходе Японии и дает такое объяснение: «В эпоху нашего младенчества из азиатской колыбели попало в наше воспитание насколько замашек и обычаев, и сейчас еще не совсем изгладившихся, особенно в простом быту».(374) Но подобные сходства писатель неоднократно подмечал и в среде китайцев и даже у африканских народов, рожденных в другой «колыбели».

Сопоставление Японии с Россией идет по линии политических, идеологических и психологических координат. Образ Японии – феодального, бюрократизированного, «закрытого» и отсталого государства создавался с безусловной оглядкой на Россию времен Николая Первого – «старую Россию» в контексте гончаровской Вселенной. Эта обломовская страна, которая в начале книги еще обладала для путешественника обаянием неразбуженности и сердечности, но постепенно, переосмысляясь под знаком Прогресса и Цивилизации, обретала черты, соответствующие историческим реалиям. И Россия, и Япония в середине 19 века пожинали горькие плоды долгих лет неподвижности и изоляции (эпоха николаевской реакции – «Эдо период»), находились в глубоком кризисе. Япония стояла на пороге открытия торговли с Западом и последующей буржуазной революции Мейдзи. Россия накануне поражения в Крымской войне и эпохи реформ Александра Второго. В. Шкловский справедливо заметил о «Фрегате Паллада»: «Кризис, обозначившийся Крымской кампанией, скрыт, но глубоко существует в этой книге путешествий и определяет все течение повествования так, как подводные горы и отмели изменяют направление морских течений».²¹

Сравнение двух стран охватывала не только настоящее, но и будущее. «Новая Россия», как она виделась Гончарову в главах о Сибири, вернее всего, в его сознании связывалась и с Японией. Эта «новая Россия» – страна, раскрепощенная и вовлеченная в общемировой процесс развития, борьбу с косностью природы и человеческим несовершенством. Но «русский самобытный пример цивилизации», осуществляемый в Сибири, потому так и именуется, что в отличие от британского примера нацелен прежде всего на «просветленное бытие», а потом уже на материальное благополучие. Удел энтузиастов, наделенных христианскими добродетелями, осуществить в экстремальных природных условиях Сибири эту утопическую мечту. Япония, полагал Гончаров, потенциально готова к резкому изменению своей судьбы: «если падет их система, они быстро очеловечатся, и теперь сколько залогов на успех!»(467)

Социальная психология японцев логично воссоздавалась Гончаровым с опорой на описание той массовой психологии, которую он уже раз воссоздавал, – психологии русских. В его творчестве они обрели черты «обломовцев» («Сон Обломова») – консервативных, ленивых жителей дальних уголков азиатской России, мира, выпавшего из человеческой Истории и земной Географии. Не случайно именно в японских главах не раз воспроизводятся сценки – беседы с матросами на фрегате – простыми русскими людьми. Они представлены с не меньшим юмором, чем простые японцы: туповатыми и наивно-простоватыми: «большие дети», которым не суждено вырасти.

Подобная четкая соотнесенность «чужого» со «своим» играла в книге Гончарова двойную роль. С одной стороны, она определила концептуальность общей картины: ведь сила необычных впечатлений при ограниченности контактов со страной могла привести к эклектичности и эскизности зарисовок. Но, с другой стороны, определенная «заданность» грозила лишить образ широты, схематизировать его, как это случилось при описании Англии.

Нельзя сказать, что Гончаров абсолютно избежал этой опасности в японских главах. Бросается в глаза, к примеру, немногочисленность пейзажных зарисовок, в которых обычно проявлялось блестящее живописное мастерство автора «Фрегата Паллада». Путешественник восхищен японским небом, но, глядя на берега нагасакской бухты, не воспринимает в полной мере открывшейся красоты, поскольку видит в своих мечтах эти берега, преобразенными на европейский лад. Японский пейзаж часто служит для него только подтверждением отсталости и «сна», которые Прогресс призван смести с лица страны. В то же время иные путешественники, открывая для себя прелесть японской земли, восхищались именно ее возделанностью – свидетельством трудолюбия и мастерства народа. К примеру, Крузенштерн писал: «Роскошная природа украсила великолепно сию страну, но трудолюбие японцев превзошло, кажется, и самую пруроду. Возделывание земли, виденное нами повсюду, чрезвычайно и бесподобно. Обработанные неутомимыми руками долины не могли бы одни возбудить удивление в людях, знающих европейское настоящее земледелие. Но увидев не только горы до их остроконечных вершин, но и вершины каменных холмов, составляющих край берега, покрытые прекраснейшими нивами и растениями, нельзя было не удивиться».²²

В изображении самих японцев Гончаров в большинстве случаев все же избежал опасности подмены «увиденного» «представляемым» (в свете излюбленной идеи), отдавшись своему исконному дару – рисованию. Показательно, что роль поэтического портрета в главах о Японии неизмеримо возрастает по сравнению с другими главами книги. Поскольку автор не имел возможности разговаривать с японцами и, более того, даже свободно передвигаться по стране, все его внимание сосредоточилось на наблюдении, но не созерцательном, а активном и

напряженном. Оно воплотилось в портретах двух видов: массовых и индивидуальных. В них как бы отразились два типа поэтического видения, как их различал сам писатель. Один: «я, как в панораме, взялся представить вам только внешнюю сторону нашего путешествия».(372) Этот панорамный показ прямо соотносится со взглядом через телескоп, как с корабля и был увиден впервые японский берег. Второй тип, по Гончарову, более важный – через микроскоп, когда улавливаются детали, оттенки . . . Его писатель собирался реализовать в сценах переговоров с полномочными и, как мы покажем далее, в полной мере реализовал.

Массовые портреты передают национально-специфические и этнографические приметы, но, что более важно, подтверждают общие размышления путешественника о судьбе нации, живущей в изоляции и несвободе: «Вообще не видно ни одной мужественной, энергической физиономии, хотя умных и лукавых много».(258) Внешний облик японца противопоставляется облику англичанина – европейца, воплощающего энергию и волю: японцы в массе своей «смотрят сонно, вяло, видно, что их ничто не волнует, что нет в этой массе людей постоянной идеи и цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее . . . Нет оживленного взгляда, смелого выражения, живого любопытства, бойкости – всего чем так сознательно владеет европеец».(262) Указанные выше мотивы детской изнеженности – стариковской расслабленности звучат со всей определенностью в описании толпы. Очевидна «сделанность» такого национального портрета. И не случайно непосредственный взгляд спутника Гончарова по походу уловил совсем иные черты в облике японцев. В. А. Римский-Корсаков так рисовал первую встречу с японцами в бухте Нагасаки: «Гребут они стоя, сильно, энергически напирая на весла и откачиваясь назад, и их обнаженные медно-красного цвета фигуры большей частью хорошо сформированы, с резко обозначенными мускулами; их бритые лбы и собранные в пучок жесткие волосы, угловатые черты лица придают японской лодке вид галеры средних веков. Все они совершенно голы, исключая узенькой повязки кругом пояса и под пахом. Японский тип мне нравится более нежели китайский. В физиономии их более энергии и смелости, нет ничего жидовского и рабского ни в манере их, ни во взгляде».²³

Но есть своя идейная и эстетическая логика в том, что групповой (социально-этнографический) портрет, столь влиятельный на первых страницах глав «Русские в Японии . . .», постепенно уступает первое место индивидуальному с большей психологической проработкой. И, что особенно важно, подобный портрет, в котором превалируют общечеловеческие черты, серьезно корректирует портрет массовый с его акцентом на приметах времени и признаках нации.

Вся писательская (психологическая) опытность Гончарова пасовала перед трудностью понять столь специфическую страну изнутри: «Как ни знай сердце человеческое, как ни будь опытен, а трудно действовать по

обыкновенным законам ума и логики там, где нет ключа к миросозерцанию, нравственности и нравам народа, как трудно разговаривать на его языке, не имея грамматики и лексикона.»(348) Другие авторы публикаций о Японии испытывали похожие чувства – недоумения, удивления. «Две такие противоположности в их поступках с нами крайне нас удивляли», – записывал, к примеру, Головнин,²⁴ ограничиваясь не раз лишь наименованием противоположностей. Очень характерна реакция священника В. Махова (свидетеля землетрясения в Симодэ) на поведение японцев – жертв стихии: «Осматривая запустелую местность с истинным сожалением, встречали мы японцев, потерявших здесь все свое достояние! Удивительный народ! Вместо горя – им смех; вместо сожаления – равнодушие; взамен скорби – веселый вид; ходят по долине, посмеиваются да табачок, то и дело, покуривают. «Былого, дескать, горем не воротишь!»²⁵

Реалист и психолог, Гончаров не мог ограничиться эмоциональной реакцией. Поэтому уже в первых индивидуальных портретах присутствует противопоставление личного – массовому, специфического – рядовому. Естественно, что такие портреты рисуют чаще всего облик молодых людей, не успевших обрести младенческо-старческие физиономии. «Этот Нарабайоси 2-й очень скромн, задумчив; у него нет столбняка в лице и манерах, какой замечен у некоторых из японцев, нет также самоуверенности многих, которые довольны своей участью и ни о чем больше не думают. Видно, что у него бродит что-то в голове, сознание и потребность чего-то лучшего против окружающего его . . .».(262) В этом портрете преобладают приметы внутреннего мира (слова «что-то», «чего-то» отражают осторожную ориентацию писателя только на определенный, ограниченный уровень психологического проникновения в мир персонажа, на минуту попавшего в поле зрения наблюдателя). Один из самых разработанных образов Гончарова – умный и способный переводчик Эйноске, неоднократно противопоставленный (и внешне, и внутренне) другим переводчикам: «черты правильные, взгляд смелый, не то, что у тех».(294) Его предшественник в книге Головина – Теске, главный доброжелатель несчастных пленников, поразивший их своими способностями: «он имел столь обширную память и такое чрезвычайное понятие и способность выговаривать русские слова, что мы должны были сомневаться, не знает ли он русского языка».²⁶ Но портрета Теске (даже внешнего) не существует, поскольку он фигура функциональная: важна его позиция, его помощь.

В портретах Гончарова внешние черты не только присутствуют, но и обычно оттеняют контраст индивидуальности (личности) и массы (толпы). Безымянный японец – «высок ростом, строен и держал себя прямо . . . он стоял на палубе гордо, в красивой, небрежной позе. Лицо у него было европейское, черты правильные, губы тонкие, челюсти не выдавались вперед, как у других японцев».(262) Внутренняя характеристика этого юноши дополнительно отрицает так называемую «норму». Поэтому в

описании широко используются негативные конструкции: «Незаметно тоже было в выражении лица ни тупого самодовольствия, ни комической важности или наивной, ограниченной веселости, как у многих из них. Напротив, в глазах, кажется, мелькало сознание о своем японстве и о том, что ему недостает, чего бы он хотел».(263)

Впечатление от индивидуальных портретов в итоге рождает неожиданное ощущение, что те черты японцев, которые легли в основу диагноза социально-психологического состояния нации, живущей в «неволе» (пассивность, рабская психология, привычка к доносительству . . .), со временем могут исчезнуть: «Сколько у них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости!»(278) Возникает и более глобальное предположение: может быть, путь к подлинному постижению национальной психологии лежит не через сравнение «своего» и «чужого» (наложение социального стереотипа одной нации – России на другую – Японию), а через взгляды в отдельного человека – вдумывание в его общечеловеческую сущность.

Тенденция к индивидуализации портрета и его психологизации нарастает по мере развития японских глав. Сначала редкие индивидуальные портреты (подобные приведенным выше) противостоят описанию общей безлицкой массы странно одетых с необычными манерами людей. Затем в среде баниосов (уполномоченных губернатора Нагасаки) и переводчиков уже различаются группы и личности, охарактеризованные кратко и четко в своем характере и политической позиции. Одна группа – немая покорная оппозиция «Молодая Япония». Другая – застарелые консерваторы, что находят все старое прекрасным, а новое считают грехом. С нравственной точки зрения улавливается масса градаций: один – старый грубый циник, другой – льстивый, кланяющийся плут. Особо полнокровен портрет переводчика Кичибе – этого японского Обломова («Я люблю ничего не делать . . . лежать на боку!»).

Во многом как результат столкновения первых общих суждений с психологическими наблюдениями, накапливающимися постепенно, созревает сдвиг в художественном видении Гончарова. В какой-то момент попытка понять и оценить Японию, опираясь на предшествующий художественный опыт, следуя сопоставлению «своего» и «чужого», ощущается малопродуктивной. Появляется намерение «отречься от европейской логики и помнить, что это крайний Восток»(283), то есть судить о стране, исходя преимущественно из ее истории, культуры, опираясь на признание за японским народом права иметь специфическую психологию и авторитетные традиции: «Вообще нужна большая осторожность в обращении с ними, тем более, что изучение приличий составляет у них важную науку, за неимением пока других . . . Наша вежливость у них – невежливость, и наоборот».(362) Показательно, что очередное признание японцев «народом не закоренелым без надежды и упрямым, напротив, логичным, рассуждающим и способным к приятию

других убеждений, если найдет их нужными», не остается, как ранее, простой констатацией. Следует объяснение: «Это справедливо во всех тех случаях, которые им известны по опыту; там же, напротив, где для них все ново, они медлят, высматривают, выжидают, хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично». (283)

Но полное отрешение от европейской логики для Гончарова, русского писателя и типичного западника, практически невозможно. Поэтому-то на протяжении всего рассказа о Японии соседствует ироническое описание странных обычаев страны с проникновением в дух и психологию народа, пусть и очень своеобразного, но, безусловно, достойно представляющего человеческий род. К примеру, Гончаров, рисуя поведение японцев на приеме у губернатора Нагасаки как подчас раздражающее европейца («У них, кажется, в обычае казаться при старшем как можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых из почтения») (284), одновременно рассматривает это поведение в контексте обычаев и нравов японской каждодневной жизни. Отмечает, что вообще в отношениях к старшим он не заметил страха и подобострастия. «Это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и оттого это не неприятно видеть» (284). Если при первой встрече с Японией «балет в восточном вкусе» виделся как стиль жизни, то затем уже воспринимается как «спектакль, представленный для нас»: «неподвижность и комическая важность» – тоже для зрителей, а в другое время они «обходятся между собой проще и искреннее».

Постепенно накапливающаяся глубокость и взвешенность поэтического письма в полной мере выявилась в картинах переговоров с полномочными сеогуна, которые стали кульминацией японских глав. Не безосновательно предположение об определенной (возможно, и неосознанной) полемичности страниц, посвященных переговорам, по отношению к начальным страницам японских глав. «Остраненный» и комически сниженный портрет «японца» уступает место портрету, в котором черты национальные, поданные с внутренним пониманием и признанием за ними права на экзотичность, органически соединяются с чертами вечночеловеческими – общечеловеческими. На их основе и сами картины переговоров, помимо воспроизведения событий, приобретают широкий психологический смысл.

Спутники Гончарова в своих записях запечатлели облик участников переговоров в соответствии с задачей, стоявшей перед каждым. Строчки официального «Отчета о плавании «Фрегата Паллада» . . .» кратки и сдержанны: «Полномочными были назначены, повидимому, люди, отличающиеся умом и опытностью». О старшем из них сказано: «один почтенный старик». ²⁷ В. Римский-Корсаков – опытный моряк, много внимания уделяющий описанию технической оснащённости и военной стороны дела, тем не менее попытался описать и личности полномочных: «Старший полномочный, старик лет 70-ти, . . . (имеющий одну из тех

почтенных добрых физиономий, которые особенно свойственны старикам, сохранившим до конца всю свежесть умственных способностей)». Другой (Кавадзи) – «человек лет 50-ти и более с лицом серьезным и даже несколько жестким».²⁸

Гончаровские портреты полномочных развернуты и нацелены на глубокие психологические обобщения. В портрете старшего из них – Тсутсуи Хизено-ками общечеловеческий аспект подчеркнут уже в момент его появления: «старик очаровал нас с первого раза: такие старички есть везде, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы; в глазах, голосе, во всех чертах светилась старческая, умная и приветливая доброта – плод долгой жизни и практической мудрости».(354-55) Подобный портрет оказывается несовместимым с официальной ролью героя, требующей не естественности, а церемониальной торжественности. Когда старик произносил официальное приветствие, оно как-то не шло к нему: «Он смотрел так ласково и доброжелательно на нас, как будто хотел сказать что-нибудь другое, искреннее».(355) И чуть позднее на обеде старик сказал это – «другое»: «Мы приехали из-за многих сотен, а вы из-за многих тысяч миль; мы никогда друг друга не видели, были так далеки между собой, а вот теперь познакомились, сидим, беседуем, обедаем вместе. Как это странно и приятно!»(359) Это было «общее тогда нам чувство», – отзывается Гончаров: «И у нас были те же мысли, то же впечатление от странности таких сближений». Старческая красота и мудрость Тсутсуи перекрывают впечатления и от странности его одежды, необычности позы, и от всего утомительного церемониала встреч с японцами. И что особенно показательно, сама старость полномочного, став его индивидуальным признаком, а не подтверждением общей концепции, уже не приравнивается к дряхлости, а только связывается с мудростью. Он «оказал удивительную бодрость» и «не обнаруживал никаких признаков усталости» во время осмотра корабля.

Кавадзи-Сойемонно-ками – фактический глава переговоров – рисуется личностью незаурядной. Первое описание – лет сорока пяти, с большими карими глазами, с умным и бойким лицом. И далее именно ум становится ведущей чертой при характеристике этого персонажа: «Он был очень умен, а этого не уважать мудрено, несмотря на то, что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой против нас же самих. Но каждое слово его, взгляд, даже манеры – все обличало здравый ум, остроумие, проницательность и опытность», – признает Гончаров, бывший одним из четырех участников переговоров с русской стороны. И после такой оценки следует принципиальное вообще и особо значимое в этой книге заявление: «Ум везде одинаков: у умных людей есть одни общие признаки, как у всех дураков, несмотря на различие наций, одежд языка, религий, даже взгляда на жизнь».(372) Так прямо высказывается глубинно присущая книге Гончарова мысль о единой природе всех людей и исконной общности всех народов. Именно эта мысль позволяет писателю нарисовать Земную Вселенную как единый мир, а людей далекой Японии, прежде всего, как

законных и правомочных обитателей этого мира, а уже только потом как жителей страны с особой судьбой и разительной внешней непохожестью на другие страны. Описывая поведение Кавадзи, наблюдая выражение его лица, Гончаров задается вопросом: «Ну, чем он не европеец?» И опровергает свои же старательные детальные описания «странностей» японцев таким, казалось бы, неожиданным замечанием: «это местные нравы – больше ничего».(373)

Надо сказать, что в русских книгах о Японии до Гончарова присутствовала полемика с мнением о коварстве и жестокости японцев, уходящим корнями в исторический эпизод изгнания христиан из этой страны. Пафос Головнина в зарисовках отдельных японцев, сочувствующих страданиям пленных, помогающих им и за это названных по имени («поступками своими он трогал нас до слез, имя сего достойного человека Кана».²⁹), таков: и японцы бывают добры. В книге Рикорда подлинным героем становится купец Такатай Кахи, посредник в переговорах между Рикордом и японцами: «малорослый наш, но великий друг». Один из рассказов о герое и его семье венчается таким восклицанием: «Просвещенные европейцы! Вы почитаете японцев коварными, злобными и мстительными, чуждыми сладчайших чувств дружества; нет! Вы заблуждаетесь. В Японии есть люди, достойные имени человека во всем смысле сего благородного названия, и великие национальные добродетели, коим подражание не сделает нам стыда; а паче доставит большую похвалу».³⁰ Снова отдельные примеры призваны опровергнуть предвзятое мнение о целом народе. Полемика мало занимает автора «Фрегата Паллада», поскольку «мир Японии» не нуждается в защите, только в понимании его существа. Этот мир равновелик другим частям гончаровской Вселенной, а сами японцы – естественная часть человечества, как оно виделось писателю.

В заключение следует еще раз подчеркнуть неоднозначность подхода Гончарова к живописанию японской специфики. С одной стороны, полагает писатель, полезно отбросить европейскую логику и помнить, что это крайняя Азия, то есть внимательно вглядываться в чужую национальную жизнь и представлять ее во всей первозданности. С другой, необходимо вдумываться в общечеловеческое, что высвечивается сквозь национальное, улавливать его и воплощать в каждом жизненном проявлении. Для Гончарова-художника приоритет второго очевиден: частное рядом с общим есть только «местные нравы – больше ничего». Подобная «субординация» двух подходов и обеспечила возможность создания самого «мира Японии», отличного от описания этой страны другими русскими авторами первой половины 19 века.

Примечания

- 1 Б. М. Энгельгардт, «Фрегат «Паллада»,» Литературное наследство, том 22-24 (М., 1935).
- 2 Как справедливо утверждается в монографии о Гончарове: Vsevolod Setchkarev, *Ivan Goncharov - His Life and His works* (Würzburg, 1974):
«Точный, тщательно сконструированный язык (этой книги)(Е. К.), заслуживает того, чтобы им наслаждаться фраза за фразой. Нет сомнения, что безупречный стиль этого спокойного и собранного повествования послужил подготовительной школой для стиля романов» (стр. 110).
- 3 И. А. Гончаров, Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Из путевых заметок (СПб., 1855).
- 4 В. Ф. Кеневич, «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Из путевых заметок,» Библиотека для чтения, № 2, отд. V (1856), стр. 44.
- 5 Н. А. Некрасов, «Заметки о журналах за октябрь 1855 года,» Современник, № 11, отд. V (1855), стр. 75.
- 6 А. В. Дружинин, «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов. Из путевых заметок И. Гончарова,» Современник, № 1, отд. III (1855), стр. 22.
- 7 Об этом в моей статье ««Фрегат Паллада»: жанр – «путешествие» (Н. М. Карамзин и И. А. Гончаров)» в кн.: Материалы Международной Конференции, посвященной 180 летию со дня рождения И. А. Гончарова (Ульяновск, Россия, 1993).
- 8 Американским ученым Джоном Эшмидом было предпринято исследование «Идея Японии (1853-1895): Япония, как она описывалась американскими и другими западными путешественниками». John Ashmead, *The Idea of Japan 1853-1895* (Garland Publishing, 1987).
В работе читаем: «Япония впервые предстала перед Западным миром в 14 веке как одна из полумифических стран золота и серебра; эта идея удержалась до 1870-х годов. В 16 веке Япония ассоциировалась с районами мира, во всем противостоящими Западной цивилизации; эта идея дожила до современности. В 18 веке на Японию смотрели как на малую Утопию. Эта идея подверглась самой сильной атаке со стороны американцев, считавших, что Япония не является никакой Утопией, а остро нуждается в христианской вере. Подобное убеждение и сделало американцев открывателями Японии в 1853 году»(стр. 6).
- 9 Список всех источников, упоминаемых Гончаровым, приводится в книге: Н. С. Державин, «Фрегат Паллада И. А. Гончарова (Пгд., 1923), стр. 19-23.
- 10 Среди них должны быть названы, прежде всего, следующие: Сочинение шведского врача и путешественника Энгельберга

- Кемпфера (1651-1716), который жил в Японии в 1690-92 годах, – История Японии; широкой известностью пользовались немецкое издание этой книги (1777-79), а также книга Путешествие от Нагасаки до Эдо, (1777-79) (тоже на немецком языке); Сочинение немецкого врача и натуралиста Филиппа Зибольда (1796-1866), Путешествие по Японии, или описание Японской империи в физическом, географическом и историческом отношении . . ., вышедшее на голландском языке в 1834-41 годах (переведено на русский в 1854 с включением других свидетельств о Японии); Сочинение шведского естествоиспытателя Карла Петера Тунберга (1743-1828), представляющее из себя 4-х томное описание путешествий по Европе, Африке и Азии, включая Японию, совершенных в 1770-79 годах.
- 11 Е. Корш, “Япония и японцы,” Современник, тома 35, 36, отд. II, (1852).
 - 12 А. В. Дружинин, Указ. соч., стр. 5.
 - 13 И. И. Лъховский, “«Фрегат «Паллада» Очерки путешествия И. Гончарова, в двух томах,” Библиотека для чтения, № 7 (1858), Лит. летопись, стр. 11.
 - 14 Так в книге Г. А. Ленсена, Русское продвижение в Японию. Русско-японские отношения, 1697-1875, George Alexander Lensen, *The Russian Push Toward Japan* (Octagon Books, 1971) рассматривается как факт неблагоприятный для дальнейших русско-японских отношений то, что «Фрегат Паллада» затмила, если не вообще не заместила в русском чтении менее читабельное, менее героическое, но куда более пронизательное повествование Головнина. «Гончаровские описания японцев мастерские и его характеры – живые. Но, к сожалению, чаще всего это достигается с помощью комизма и окарикатуривания» (стр. 343). С американским историком справедливо не соглашается японский литературовед Есикадзу Накамура “И. А. Гончаров у японцев” в кн.: Литература и искусство в системе культуры (М., 1988), стр. 420.
 - 15 «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. С приобщением замечаний его о японском государстве и народе. Часть первая. Напечатана по Высочайшему повелению в Санкт-Петербурге в Морской типографии 1816 года»; страницы в «Преведомлении» не указаны.
 - 16 И. А. Гончаров, “«Фрегат Паллада». Очерки путешествия в двух томах,” Литературные памятники, Издание подготовила Т. И. Орнатская, (Л., 1986), стр. 621. Далее цитирую по этому изданию с указанием страниц в тексте, в скобках.
 - 17 См. Т. Робол, “Литература «путешествий»” в кн.: Русская проза, (Под редакцией Б. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова) (Л., 1926).
 - 18 Об этом в моей статье “«Фрегат Паллада» и «Обломов» (взаимовлияния),” в кн.: Материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со дня смерти И. А. Гончарова (Бамберг, Германия, 1992).

- 19 К. Н. Посыет, “Письма с кругоземного плавания в 1852, 1853 и 1854 годах,” Отечественные записки, № 4, отд. VI, (1855), стр. 121.
- 20 В. Головнин, Указ. соч., стр. 54.
- 21 В. Шкловский, “И. А. Гончаров как автор «Фрегата Паллада»” в кн.: Заметки о прозе русских классиков. О произведениях Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова, Изд. втор. испр. и доп., (М., 1955), стр. 242.
- 22 «Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5, и 1806 годах. По повелению Его Императорского Величества Александра Первого на кораблях «Надежде» и «Неве», под начальством флота капитан-лейтенанта, ныне капитана первого ранга, Крузенштерна, Государственного Адмиралтейского Департамента и Императорской Академии наук члена», часть I, В Санкт-Петербурге, в Морской типографии 1810 года, стр. 294-295.
- Показательно, что В. А. Римский-Корсаков описывает ту же самую бухту, что не удовлетворяла Гончарова, совсем по-иному и не противопоставляет японские картины – европейским: «Бесподобная гавань – этот внутренний Нагасакский рейд. Сколько прекрасных бухточек вдается по зеленеющим живописным берегам. Как эти берега возделаны, заселены, какая на всем печать трудолюбия и опрятности! Особенно живописны два караульные мыса, обозначающие, каждый со своей стороны – по бухточке, во глубине которых расположены селения. Как хорошо раскинуты на полугоре казармы караульных – серенькие домики с белой полосой на окраине черепичных крыш своих; как прихотливо вьется к ним дорожка между зеленеющих кустов и больших сосен, венчающий здесь каждый клочек, не занятый посевом. Спокойней здешней стоянки быть не может . . . Вечером, когда зажгутся на всех заселенных местах бумажные фанари, так и кажется, будто стоишь в каком-нибудь пруду в окрестном саду в Петербурге», Морской сборник, № 5 (1896), стр. 187.
- 23 Морской сборник, № 10 (1895), стр. 191-192.
- 24 В. Головнин, Указ. соч., стр. 92.
- 25 «Фрегат Диана». Путевые записки бывшего в 1854 и 1855 годах в Японии протоиерея Василия Махова,” (СПб., 1867), стр. 43-44.
- 26 В. Головнин, Указ. соч., стр. 219.
- 27 “Отчет о плавании фрегата «Паллада», шхуны «Восток», корвета «Оливуца» и транспорта «Князь Меншиков», под командой генерал-адъютанта Путятина, в 1852, 53 и 54 годах, с приложением отчета о плавании фрегата «Диана», в 1853, 54 и 55 годах,” Морской сборник, № 1, отд. III (1856), стр. 157.
- 28 Морской сборник, № 5 (1896), стр. 190.
- 29 В. Головнин, Указ. соч., стр. 59.
- 30 “Записки флота капитана Рикорда о плавании его к японским берегам в 1812 и 1813 годах и сношениях с японцами,” напечатаны по

Высочайшему повелению в Санкт-Петербурге, в Морской типографии
1816 года, стр. 75.